



Вяч. Вс. ИВАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПО СЕМИОТИКЕ
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Том VI

ИСТОРИЯ НАУКИ:
НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ
(XX век)

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Институт теории и истории мировой культуры

Вяч. Вс. ИВАНОВ

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ПО СЕМИОТИКЕ
И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

Том VI

История науки:
Недавнее прошлое (XX век)



ББК 83.3(2Рос=Рус)
И 18

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 06-04-16231

Иванов Вяч. Вс.

И 18 Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 6: История науки: Недавнее прошлое (XX век) / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т теории и истории мировой культуры. — М.: Знак, 2009. — 384 с. — (Язык. Семиотика. Культура).

ISSN 1727-1630
ISBN 978-5-9551-0311-2

В шестой том входят работы, освещающие отдельные вопросы истории отечественной науки в XX веке. Предлагается общий обзор важнейших интеллектуальных и эстетических достижений, осуществленных российскими учеными на протяжении первой трети столетия, и их дальнейшее развитие. При этом особое внимание обращено на связи между собственно научными открытиями и связанными с ними успехами в понимании философских и религиозно-философских проблем. В качестве круга идей, рассмотренного особенно подробно, избраны те, которые разрабатывались М. М. Бахтиным и учеными, близкими ему по характеру интересов. В частности, более детально изучены вопросы, концентрирующиеся на проблематике диалога и монолога, соответствующих форм речи и словесного искусства, а также теория карнавала в семиотическом его понимании. Семиотические и лингвистические идеи Романа Якобсона исследуются на фоне его научных связей с современниками и последователями — представителями следующих поколений. Выделены такие объединявшие ранние работы Бахтина и Якобсона темы, как семиотический подход к языку бессознательного, рассмотренный в аспекте современных нейросемиотических представлений. Специально рассмотрен вклад наших ученых в развитие ряда областей кибернетики и других дисциплин, объединявшихся этим общим термином.

Книга представляет интерес для всех интересующихся историей и методологией современных гуманитарных и естественных наук в их взаимосвязи.

ББК 83.3

На фронтисписе фотоанаграмма светлАны ивАновой

ISBN 978-5-9551-0311-2

© Вяч. Вс. Иванов, 2009
© Знак, 2009

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Первая треть двадцатого века в русской культуре: мудрость, разум, искусство.	11
О Бахтине и семиотике.	103
Ответы на анкету журнала «Диалог. Карнавал. Хронотоп»	113
Доминанта творчества М. М. Бахтина: диалог и карнавал.	115
Из заметок о строении и функциях карнавального образа	123
К семиотической теории карнавала как инверсии двоичных противопоставлений	139
К теории речи <i>другого человека</i>	157
Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики	183
Послесловие к работам о Бахтине.	219
Из истории кибернетики в СССР. Очерк жизни и деятельности М. Л. Цетлина	227
Три судьбы.	253
Одетый одеждою крыльев (о В. К. Шилейко)	259
Академик А. И. Берг и развитие работ по структурной лингвистике и семиотике в СССР	271
Поэтика Романа Jakobsona	289
Лингвистическая теория Р. О. Jakobsona в работах советских лингвистов.	309
Бессознательное, функциональная асимметрия, язык и творчество (К постановке вопроса).	335
Рецензия на книгу О. М. Фрейденберг. Миф и литература древности	343
Некролог. Памяти великого слависта: Владимир Николаевич Топоров (1928—2005)	353
Владимир Николаевич Топоров (1928—2005) и балто-славянские исследования.	365
Ю. Курилович (1895—1978). Некролог	373

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом вниманию читателей 6-м томе собраны работы, анализирующие некоторые из замечательных достижений отечественной науки (и работавших за границей ученых, с ней связанных) главным образом в первой трети минувшего столетия и в непосредственно последующие периоды времени.

Том предваряется работой, в которой сделана попытка дать общую характеристику того невиданного взрыва интеллектуального и художественного творчества, которым ознаменовались первые десятилетия минувшего века. Не подлежит сомнению, что, не помешай этому цветению духа Сталин и Гитлер, можно было бы надеяться на приход эпохи, по своим результатам сопоставимой с Афинами времен Перикла или с Италией в самый творческий период Возрождения.

Но многие из самых замечательных участников начавшейся революции Духа погибли в застенках, и мы не всегда знаем, сколько потеряно из их открытий. Историк науки одновременно вынужден пробовать понять величие уже достигнутого и размеры беды, не давшей этим открытиям и озарениям помочь людям в той мере, в какой это хотелось бы самим первооткрывателям.

Первые скромные попытки вернуться к прерванным плодотворным занятиям начались вскоре после смерти Сталина. Мне посчастливилось быть свидетелем и участником этих первых опытов восстановления и воскрешения той изумительной культуры, которая чуть не погибла полностью во время террора. Среди немногих великих людей предшествовавших поколений, оставшихся в живых, был Михаил Михайлович Бахтин, чье творчество сделало его во всем мире самым признанным гуманитарием XX-го века (напомню хотя бы число книг, номеров журналов, статей, эссе, ему посвященных и вышедших в самых разных странах на разных языках — по большей части уже после конца его долгой и трудной жизни). Мне довелось знать его близко, обсуждать с ним многие вопросы его теорий и даже давать ему для ознакомления некоторые из включенных в эту книгу статей, где речь идет о возможном развитии части его концепций (в частности, его самого занимало, что лингвисты могут сказать о поставленной им задаче изучения форм передачи чужого слова).

Другим дожившим до новых времен замечательным ученым, с которым связано создание и развитие целой серии авангардных направлений в науках о челове-

ке, был Роман Осипович Якобсон, не только бывший одним из основателей принципиально нового «формалистического» подхода к языку и литературе у нас в стране, но и способствовавший превращению его в европейский и американский структурализм, повлиявший на дальнейшее развитие всех наук о человеке. Я несмотря на разницу в возрасте дружил с Якобсоном, проводил с ним много времени на конференциях в Москве, Осло, Ленинграде, Варшаве, Кяэрику (в Эстонии возле Тарту — там находится спортивная база Тартуского университета, превращенная Ю. М. Лотманом в трамплин для прыжка русской и эстонской семиотики в будущее). Я написал и напечатал воспоминания о нем, но в соответствии с намеренно не субъективным направлением всего этого тома включил в него не мемуары, а работы, где и мои соавторы (покойная Т. Я. Елизаренкова — одна из лучших наших лингвистов-индологов и замечательный картвелист и индоевропеист акад. Т. В. Гамкрелидзе) стремились дать очерк роли Якобсона и его значения для нашей науки.

Продолжение и возрождение достигнутого и дальнейшее движение вперед было бы невозможно, если бы эти начинания в гуманитарных науках не были поддержаны теми выдающимися представителями новых направлений естественных наук, которые тогда (в 1960-е — 1980-е годы) группировались вокруг кибернетики. Об этой стороне истории нашей науки я пробую рассказать в очерках, посвященных первому руководителю Научного Совета по кибернетике акад. А. И. Бергу и его помощнику на ранних этапах работы — М. Л. Цетлину. Когда я написал первый вариант публикуемого здесь очерка о Цетлине, тогдашняя советская цензура его запретила, считая, что я превысил меру дозволенного в восторженном описании его бурного научного и инженерного творчества. Я продолжаю думать, что был только писателем реально им сделанного и задуманного.

Ученые, о которых я здесь пишу, достигли многого — они подвели науки о человеке к рубежу настоящего точного знания. Движение в этом направлении охватило в то время всю Европу. Из тех представителей европейского структурализма, которые вместе с Якобсоном много значили для нашего поколения, я выбрал для отдельной характеристики также и Ю. Р. Куриловича, с именем которого связана новая эпоха в современном сравнительно-историческом языкознании. Как и другие представители этой области лингвистики, ближе всего подошедших к открытию точных законов и применению точных методов, Курилович понимал, в какой мере в основе всех лингвистических открытий лежат принципы семиотического исследования. Очерк о нем, как и статьи о Якобсоне, служат поэтому продолжением печатавшихся ранее очерков по истории семиотики.

Лучшие из тех умов, чьи результаты я пробую оценить и описать, стремились к пониманию таких закономерностей, знание которых облегчило бы социальные и экономические условия существования. Об этом я думал, пробую охарактеризовать суть открытий Н. Д. Кондратьева, касающихся предсказания и преодоления экономических кризисов, свойственных капитализму, и жесткую критику всего современного общественного устройства европейских стран, данную

О. М. Фрейденберг. Именно то, что дальнейшее развитие этих работ может иметь самые действенные результаты, заставляет настаивать на необходимости их неотложного тщательного изучения.

Приношу благодарность всем, способствовавшим подбору предлагаемых работ, в особенности Н. А. Панькову, содействовавшему собиранию всех статей о М. М. Бахтине.

11 января 2009 г.

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: МУДРОСТЬ, РАЗУМ, ИСКУССТВО*

Предлагаемый текст представляет собой общий обзор духовной жизни России на протяжении первой трети двадцатого века. Подробности должны быть освещены в других статьях этого и последующих томов, посвященных интеллектуальному ландшафту России двадцатого века (главным образом первой его трети). По этой причине иллюстративные примеры (и соответствующие биографические — за редкими исключениями, и библиографические данные) сведены к минимуму.

I. ХРОНОТОП. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА

1.1. Границы периода в России и в Европе

Рассматриваемый период расцвета российских духовных поисков и связанных с ними достижений в науке и искусстве определяется как охватывающий всю первую треть двадцатого века. Возникает вопрос: как этот русский период вкладывается в аналогичный период бури и натиска в европейской и мировой духовной истории? Вернадский в своих исследованиях по истории научной мысли (Вернадский 1988б, в) определяет время ее наибольшего взлета в самом начале двадцатого века как интервал между созданием Эйнштейном *специальной теории относительности* и формулировкой им же *общей теории относительности*. В это же десятилетие с лишним (1905—1916) укладывается и начальный, наиболее творческий период в истории затеявшегося европейского авангарда. Последний, как на материале преимущественно русских художников показала в монографии о *четвертом измерении* Хендерсон, имел истоки в переосмыслении *пространственности*, общие у *кубизма* с теориями Эйнштейна (Henderson 1983, с подробным разбором авангарда в России начала XX в.). Соответствующий период в искусстве длится от посмертной выставки Сезанна и выставки африканской скульптуры, по-

*Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 4. Ч. 1. М., 2007. С. 8—117.

служивших импульсом для экспериментов Пикассо, Брака и Модильяни, до балета «Парад» (1917) — совместного создания, участвовавших в нем Дягилева, Кокто, Аполлинера, Пикассо. Но, как в науке следующий значительный этап в пересмотре парадигмы классической физики составили работы 1920-х годов по *квантовой механике*, так и окончательное развитие литературного и визуального авангарда можно видеть в сочинениях Т. С. Элиота, Джойса, дадаистов и сюрреалистов, в картинах и фильмах Леже, Ман Рея, Эйзенштейна, спектаклях Мейерхольда, создаваемых в послевоенный период. Указанные границы приходятся на время от подготовки Первой мировой войны до Всемирного Экономического Кризиса 1929 г. и соответствуют общей закономерности, выявленной в рассмотренных ниже работах Н. Д. Кондратьева: основные открытия делаются во время экономического спада и связанных с ним социальных потрясений, войн и революций.

Затруднительность четкого проведения границ между явлениями, безусловно территориально принадлежащими истории русского духовного развития, и более широким мировым и европейским фоном во все это время усугубляется многочисленными отъездами в эмиграцию или в длительные путешествия.

Биографии многих важнейших деятелей разворачиваются в целой череде стран. Горький проводит на Капри часть времени после первой революции, читая там лекции в подобию университета для русских политических эмигрантов, и потом в течение значительного периода перед приходом к власти Сталина, когда к нему в гости приезжают многие писатели из СССР. Вячеслав И. Иванов в первой эмиграции успевает поучиться у Моммзена и начать занятия санскритом у Соссюра (который возможно знакомит его с интенсивно им разрабатывавшейся идеей анаграмм, позднее подхваченной Фрейдбергером через посредничество Иванова). В формировании совсем молодого Мандельштама важным этапом были учеба в Германии и посещение лекций (в том числе Бергсона, не раз им упоминаемого в статьях о поэзии) в Сорбонне. В юности для Степуна, Кагана (участника семинара Бахтина и его ближайшего друга), Пастернака целый период обозначен их занятиями у Когена в Марбурге. Андрей Белый годы Первой мировой войны проводит за строительством Гётеанума вместе с другими последователями Штейнера. Послереволюционный отток интеллигенции за пределы новой России сменялся несколько раз индивидуальными или совместными возвращениями.

В какой мере можно говорить о значимости отдельных центров за границами России? Один и тот же город, например, Париж, предстает по-разному в предвоенные и послевоенные годы (соответственно до Первой мировой войны и для первой волны эмиграции) в истории русской живописи, поэзии, мысли. Пребывание Троцкого в Мексике (последний этап его высылки, по дате совпадающей с началом конца всего описываемого периода) одновременно много значит для политической и интеллектуальной истории Латинской Америки и для развертывания сталинского террора против враждебных сил, якобы насылаемых из-за границы Троцким (многие из упоминаемых ниже стали жертвами террора).

1.2. Что предшествовало?

В Европе — творчество «проклятых» поэтов (и параллельный этому расцвет европейского и американского научного и технического творчества второй половины девятнадцатого века). Преломление тех же общемировых тенденций позднего неоромантизма можно показать на примере воздействия Эдгара По. Бодлер перевел многие его произведения, что и дало начало европейскому *символизму* как течению эстетическому (о соотношении с русским символизмом, наложившим свой отпечаток на весь рассматриваемый период в России, и отличиях от него см. ниже). Переводы нескольких рассказов По Достоевский печатает в своем журнале. Он сопровождает их предисловием, где описывает творческий метод По. Речь идет о том, что сам Достоевский, этому методу следующий, назовет *фантастическим реализмом*. Течение характеризуется соединением самых фантастических образов и сюжетов с, казалось бы, совершенно достоверными реалистическими бытовыми деталями. Это направление, название которого потом подхватил Вахтангов (а еще позже А. Синаевский в статье о социалистическом реализме, послужившей одной из главных улик на суде над ним), в России исходило из опыта Гоголя, который (как и Пушкин в своей петербургской прозе) был одним из предшественников русского символизма (см. о символическом стиле Пушкина пронизательные замечания В. В. Виноградова, 1940; о Гоголе как предшественнике Белого и Блока: Андрей Белый 1934). Замечательные статьи Ходасевича о петербургском цикле Пушкина, написанные вскоре после неожиданного раскрытия авторства Пушкина в «Уединенном домике на Васильевском острове», особо интересны и как опыт прочтения романтических мистических текстов в символистском ключе с позиций младшего символиста-ортодокса (символистическое мировосприятие как целое раскрыто Ходасевичем в эссе о Муні). У Достоевского значительный интерес представляет последовательно проводимое соотношение интеллектуальных фантазий таких философствующих персонажей, как Иван Карамазов, и открытий в области *неэвклидовой геометрии* (математику Р. И. Пименову принадлежит честь обнаружения роли пространства Римана для Достоевского, получившего для того времени прекрасную подготовку в математике). Чорт Ивана Карамазова и Мефистофель Случевского могут рассматриваться как первые в ряду *мефистофельски-фаустовских* персонажей, едва ли не становящихся более характерными для двадцатого века, особенно первой его половины (Валери, ранний Пастернак, Булгаков, Акутагава, Томас Манн; ср. книгу Дабезье «Облики Фауста в XX в.»: Dabezies 1967). Черты *апокалиптической эсхатологии* «Великого инквизитора» и других подобных *антиутопий* позднего Достоевского близки к мотивам повести об Антихристе Вл. Соловьева и других предвидений опасного будущего, в котором, в частности, повинна наука, как это сформулировано в переписке Константина Леонтьева и в статьях Федорова, вошедших в «Философию общего дела». Отчетливо формируется нравственное противопоставление Мудрости и Разума, развитое русскими философами начала века. У последователей Федорова (таких,

как Чекрыгин) позднее всего отчетливее формулируется соотнесение задач будущего искусства с этими философскими и нравственными категориями (ср. Чекрыгин 1977, ср. письмо Чекрыгина: Пунин 2000: 145—146).

О *предсимволизме* можно говорить (как полагала и З. Г. Минц в работах по истории русского *символизма*) по отношению к тем писателям, которые, как Лев Толстой в поздних вещах и Чехов, пользуются набором символов, передающих идеи нового времени (этот новый тип метафор у Толстого, начиная с «Анны Карениной», был отмечен Б. М. Эйхенбаумом; резкое неприятие Толстым современного ему западноевропейского символизма несколько не мешало ему создавать другую, альтернативную систему символов). Дорожный сцепщик в повторяющихся видениях Анны целиком принадлежит новому времени. К новым чертам позднего предсимволистского стиля Льва Толстого относится *соединение художественного текста с научным рассуждением* в сочетании со ссылками на другие религиозные традиции (мысли о генетике в этюде «Карма»); мы и дальше столкнемся с синтезом мудрости, разума и искусства и взаимодействием с *восточными духовными учениями* как характерной чертой русского духовного роста.

Указанные еще в ранней статье Аполлона Григорьева предавангардные черты поэтики Случевского получили частичное развитие в более поздней его лирике. Хотя у самого Аполлона Григорьева (прямо повлиявшего на занимавшегося его тогда никому неизвестными стихами Блока) уже формируются многие стороны предсимволистской поэзии, в своей критической оценке дурного влияния Гейне на Фета Григорьев выступает в роли противника той «болезненной» лирики, к которой сам он в стихах тяготел.

1.3. Предсимволизм, символизм и постсимволизм

Русский символизм отличался от западноевропейского выраженностью в нем религиозной установки, обращенной на личность *Художника*. Лишь у отдельных старших символистов (Брюсов, Анненский) отчетливо обнаруживается прямое воздействие поэтики западноевропейского символизма и его эстетических категорий. Маргинальность этой стороны раннего русского символизма видна в естественности первых пародийных откликов на ранние брюсовские эксперименты, написанных одним из провозвестников собственно русского символизма — Владимиром Соловьевым. Особость литературного места Анненского тоже можно связать с собственно эстетической окраской его символизма, сблизившего его скорее с французскими современниками, а из русских — с такими постсимволистами, как Кузмин. Неслучайно модернизм, сказавшийся в переводах трагедий Еврипида Анненским, вызвал резкую критику М. Л. Гаспарова, противопоставившего многословности Анненского лаконизм и минимализм в духе поздних вкусов нашего времени (Гаспаров 2003).

Если у ранних русских символистов (Добролюбов) религиозные искания определяют всю их судьбу, становящуюся с этого времени двойником и дублером лири-

ческой биографии, то и позднее неотрывность поэта и его жизни проходит через творчество всех больших писателей. В разных вариантах символистской религиозной философии творчества на первое место выдвигается роль *творца-демиурга*.

Под *постсимволизмом* разумеется совокупность разных философских и религиозных течений с эстетической окраской, которые так или иначе продолжают и наследуют отдельные стороны русского символизма. За исключением Хлебникова и прямо с ним связанного направления (обериуты) почти все крупные поэты следующих поколений сами заявляют о прямом продолжении ими линии Блока. Законченные варианты новых постсимволистских концепций можно видеть в «Охранной грамоте» Пастернака и в книге статей о поэзии и в «Разговоре о Данте» (посмертное издание) Мандельштама.

Рассмотрение Пастернака как такого постсимволистского автора, который не только в первых книгах, но и в последних своих текстах еще очень близок к символизму в его ранней форме, можно показать на примере романа «Доктора Живаго» и стихов из романа. По разговорам с Пастернаком середины 1940-х годов, когда он только приступал к написанию первых глав, я знаю, что основной задачей было выражение *новой религиозной философии*, продолжающей христианскую, но представляющую собой ее развитие. В первых частях романа такая философия связывается с дядей Живаго Николаем Николаевичем, позднее автор перенесет ее на мысли, записи и стихи главного героя. Роман антиавтобиографичен: важнейшие пересечения линий жизни героя и страны (Первая мировая война, партизанское движение в годы Гражданской войны, советская идеология времени НЭПа) у главного героя и автора не совпадают, Живаго умирает в начале сталинского времени (и в конце рассматриваемого нами периода), избавляясь от испытанного Пастернаком искушения наладить отношения с диктатором и от вероятно ему грозившей полицейской расправы.

1.4. Основная граница — 1929 г.

Год, согласно официальной советской терминологии называвшийся «годом Великого Перелома», и конец предшествовавшего 1928 г. были временем прихода Сталина к неограниченной личной власти. В той мере, в которой она распространялась на все области жизни и культуры, этот фактор приходится учитывать в любом серьезном исследовании, как бы низко мы не оценивали интеллектуальные способности «вождя народов». Одновременно с победой Сталина и сопутствовавшей ему «термидорианской» группой «тонкошеих вождей» (Мандельштам) осуществляется изгнание из России Троцкого, начинаются широкие аресты крупных ученых (дело Платонова), инженеров и деятелей промышленности (Шахтинское дело), молодежи, составлявшей аудиторию религиозно-философских кружков (Лихачев 2001). Усиливается цензурный гнет. Процесс охватывает несколько лет. Интеллигенция успевает выработать тактику ухода от прямого участия в преступлениях. Следующий виток разнузданного террора принуждает говорить о полном

конце всех остатков дозволенной духовной жизни. От арестов, ссылки, компромиссов, ведущих к моральному падению, спасаются считанные единицы.

Рубеж двадцатых и тридцатых годов ознаменовал возобладание тоталитарных тенденций в разных странах. Тяготение к крайним политическим позициям характеризует многих одаренных людей в Европе. Выбор между разными видами тоталитаризма отчетливо виден на примере Гражданской войны в Испании.

Начало войны России с Гитлером кладет резкую границу между прежним временем и новым. Злодеяния гитлеровцев, уничтожающих население Центральной и Восточной Европы, дополняют временно побеждающую картину наступающего апокалиптического мрака.

II. ОБЗОР ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

МУДРОСТЬ, РАЗУМ, ИСКУССТВО

Ниже дается общий обзор развития русской духовной жизни в очерченных пространственно-временных пределах. В основу положено принятое русскими философами разделение мудрости и разума. Искусство, наряду с другими, включающее и две последние составляющие, но отличающееся особой ролью интуиции и связи с иррациональными (не всегда мистическими или оккультными) источниками вдохновения, рассматривается отдельно.

МУДРОСТЬ

A.

2.1. Владимир Соловьев и гностицизм: предистория Премудрости Божьей и Вечной Женственности. История религии

Наиболее плодотворные течения в русской предсимволистской и символистской поэзии и религиозно-философской мысли связаны с развитием идей гностицизма. Первооткрывателем его для России был Владимир Соловьев, которому Блок, Белый и философы, как Бердяев и Сергей Булгаков, от раннего увлечения марксизмом перешедшие к обдумыванию новых религиозных идей, обязаны формулировкой главных гностических образов. Основу их составило конкретное персоналогическое представление о воплощении Софии — Премудрости Божьей. Как это выразит Соловьев в стихах:

Вечная Женственность ныне
В теле нетленном на Землю идет.

Соловьев опирался на свои изыскания в текстах ранних гностиков, которыми он, в частности, занимался в Британском Музее, и на свой собственный мистический опыт (сейчас Египет, почти загадочным образом в нем отпечатавшийся, получил на это как бы законные права после открытия гностических текстов в Наг-Хаммади). Из частично напечатанных ранних рукописей Соловьева о Софии, как и из его стихов (отчасти подобно стихотворению «Три разговора», написанных как бы с иронической внегностической или псевдопозитивистской точки зрения, господствовавшей в то время; такой же альтернативный взгляд, учитывающий и возможности психопатологического анализа, проскальзывает в его статье о Платоне, как и в откровенно скабрёзных стихах, напечатанных не полностью) и еще ненапечатанных архивных материалов (его собственная переписка с Софией, Рукописный отдел Российской государственной — бывш. Ленинской — библиотеки, Москва), следует, что кроме нескольких описанных им кратковременных встреч с Софией его мистический опыт включал и другие виды общения с Ней. Сам Соловьев рассматривал эту часть своей духовной биографии в контексте предшествующего мирового опыта. Сходные замечания содержатся в поздних предсмертных записях Блока (и в меньшей степени среди разнородных автобиографических полупризнаний Андрея Белого, в частности, в рассуждении об Индии в книге о Гёте и Штейнере: Андрей Белый 1917/2000). Незадолго до смерти (уже после того, как он отошел от кратковременного революционно-мистического энтузиазма 1917—1918 гг.) Блок предполагал написать прозаический комментарий к своим юношеским стихам о Прекрасной Даме по образцу «Новой жизни» Данте. Мистические дневники Блока того раннего времени, не вошедшие в собрания его сочинений, до сих пор не прочитаны и не изданы (они хранятся в его архиве в Пушкинском Доме). Одна из наиболее развернутых опубликованных поздних заметок Блока на эти темы касается книги молодого В. М. Жирмунского о религиозном откровении в *раннем немецком романтизме*. В этой книге (совсем недавно переизданной), как и в последовавшем за ней исследовании о религиозном отречении у романтиков, Жирмунский смотрит на опыт немецких романтиков глазами человека поколения, «преодолевшего символизм» (формулировка его статьи тех лет об акмеизме). Иными словами, это — постсимволистское описание предсимволистских черт, заново открываемых в немецком романтизме (в этом отличие от собственно литературоведческого подхода в последующих работах на близкую тему у Берковского).

Несомненно, что последующая европейская (а также и русская) традиция ориентировалась не столько на истоки поклонения воплощению женского начала у романтиков, сколько на отражение этой идеи у Гёте в финале «Фауста»:

Das Unbeschreibliche
Ist nun getan,
Das Ewige Weibliche
Zieht uns hinan.

(«Сейчас происходит неопишуемое,
Вечная Женственность уводит нас ввысь»).

Но для русского символизма характерен именно возврат к ранне-романтическому периоду становления этих идей.

Новалис, представляющий и по биографическим причинам особый интерес для понимания романтической концепции любви как откровения, в принципе не ограниченного пределами человеческой жизни, был до упомянутых работ предметом специальных занятий Вяч. И. Иванова (интерес к Новалису как натурфилософу в это время не замкнут литературным кругом символистов: Хлебников возит с собой перевод фрагментов Новалиса, сделанный его другом Петниковым, и они определенно оказали влияние на его прозу).

Романтическое осмысление темы умершей или исчезнувшей возлюбленной было вслед за ранними немецкими романтиками продолжено Эдгаром По. Две из его героинь — Линор и Лигейя — названы в строке Манделъштама, объединяющей их с адресаткой стихотворения — княгиней Саломеей Андрониковой («Соломинкой») и Серафитой — андрогинным персонажем навеянного мистикой Сведенборга рассказа Бальзака: «Линор, Соломинка, Лигейя, Серафита».

Постсимволистское поколение, которое (по словам Пастернака в «Охранной грамоте») стремилось передать дальше, как эстафету, открытую символистами «лирическую истину», вписывалось в продолжение средствами поэзии того круга представлений, который ранее был уделом тех, кто в основу мировоззрения положил религиозно-философское осмысление отношения к женщине как к высшему началу.

В упомянутых записях Блока была сделана попытка найти место для его (и Белого) юношеских переживаний в том европейском ряду, который до ранних немецких романтиков включает Данте и начало итальянского Возрождения.

Самым началом этого течения в Европе занимался А. Н. Веселовский в исследовании об *истории отношения к женщине*. В более широкий контекст связей культур Востока и Запада этот круг образов попробовал ввести Н. Я. Марр (Марр 1910). В этом исследовании в качестве параллелей древнегрузинскому тексту Шота Руставели он коснулся средневековых персидских и других мусульманских представлений и легенд о *безумной любви*. Эта тема была подробно исследована в целом ряде более поздних работ, прежде всего в связи с вопросом о понимании священной и мирской любви у мусульманских мыслителей Ибн Хазма (основное издание единственной сохранившейся рукописи его «Ожерелья голубки» русского арабиста Д. Петрова: Petrov 1914; испанский перевод со статьей Ортега-и-Гассета 1927 г. и русский перевод Салье 1933, за которым последовали многочисленные переводы на новые западноевропейские языки) и Аль-Араби, и у суфиев, испытавших воздействие последнего (Пурджавади 2001; Юрген 2001). В западноевропейской истории культуры и эссе о любви проблема стала широко обсуждаться после выхода испанского перевода «Ожерелья голубки» Ибн Хазма с предисловием Ортега-и-Гассета. Во многих специальных исследованиях и общих курсах затрагивается вопрос о том, в какой мере арабо-еврейская интеллектуальная среда (главным образом через посредство таких арабо-андалусийских авторов, как Ибн Хазм)

оказала влияние на выработку в Европе в Средние века у испанских авторов, провансальских трубадуров и итальянских поэтов раннего Ренессанса цикла представлений о безумной любви к прекрасной даме и культе последней (из крупных поэтов прошлого века об этом арабо-европейском схождении и его роли для истории поэзии специально писал Луи Арагон в связи со своим произведением «Fou d'Elza»). Можно наметить по меньшей мере три направления, в которых развиваются обсуждения этой темы, иллюстрирующие возможности синтеза разных разбираемых подходов. Первое из них находится в сфере истории поэзии (западноевропейской, русской, восточной) и теперь разрабатывается особенно интенсивно. Другое, основательно изучавшееся на протяжении описываемого нами периода, лежит в плоскости истории религии и богословия. В частности, на русском материале проблемы, связанные с историей и значением образа Софии в православии, рассмотрены в специальной большой части диссертации отца Павла Флоренского (Флоренский 1914). В этом плане много нового было сделано для исследования таких древних частей Ветхого Завета, как гимн Мудрости. Истоки его удревняются благодаря открытию более ранних западно-семитских, в частности угаритских текстов сходного содержания. С обнаружением большого числа новых данных, относящихся к предистории женских образов Мудрости в древневосточных культурах, связаны и опыты научного (археологического и историко-культурного) их истолкования. Это третье из перечисляемых нами направлений, представленное в частности популярными работами Гимбутас и ее школы о «богинях», также может отнести к числу предвестников все того же Н. Я. Марра, уже названного выше в несколько ином контексте. К самым поздним трудам, вышедшим с его благословения, относится исследование Франк-Каменецкого, Фрейденберг, Струве и других ученых, попробовавших дать в духе той эпохи социально-типологическую стадиальную интерпретацию выявленных ими сходств между женскими персонажами мифологий Древнего Средиземноморья. В цикле работ, примыкающих к этой книге, Фрейденберг высказала несколько глубоких наблюдений относительно богини Иштар и связанных с ней образов. Они подтверждены находками недавнего времени: Фрейденберг описала тот воинственный образ богини, который совпадает с вновь открытыми данными угаритских и других ранее известных текстов. В какой мере сама идея объединения разных женских мифологических персонажей оправдана, едва ли можно сказать на теперешнем этапе знакомства с ними, но нельзя не увидеть сходства построений Фрейденберг и многих новых выводов сравнительной мифологии. Часть достижений Фрейденберг в этой области может быть фальсифицирована в попперовском смысле, в частности выводы ее доклада 1924 г. и последующей посмертно изданной статьи о въезде в Иерусалим на осле (Фрейденберг 1924). Основной образ, лежащий в основе ее идеи, подтверждается текстом древнехеттской повести о царице города Цальпа и ее недавним сравнительным анализом в работе К. Уоткинса, не знавшего о прозрении Фрейденберг и повторившего ее выводы.

Из других изысканий по истории религии, лежащих (согласно принятой нами терминологии) на границе мудрости и разума, заслуживают особого внимания труды Вяч. И. Иванова, посвященные теме Диониса в его соотношении с Христом (кроме лучше известной и недавно переизданной книги, вышедшей в Баку перед отъездом Иванова за границу, сохранились и многочисленные позднейшие рукописи Иванова, уточняющие отдельные его мысли о Дионисе, в частности материалы к немецкому переводу его исследования). Поэтическое выражение этого соположения мифологем в стихах Иванова вызывало восторженную оценку молодого М. М. Бахтина (в его лекции об Иванове), что представляет интерес ввиду отчетливой ортодоксально православной религиозной позиции Бахтина: ему, как и другим философам православной ориентации, подобное совмещение научного анализа с религиозной интуицией представлялось естественным. В деталях, подтверждаемых вновь прочитанными иероглифическими лувийскими и древнехурритскими данными, гипотезы Иванова согласуются с одновременно и независимо высказанными идеями Кюмона (отчасти они изложены и в недавно переизданной в русском переводе книжке последнего о восточных религиях в Римской империи). Помимо ценности этих мыслей для понимания культа Диониса в соотношении с другими религиями, в том числе и с христианством, сравнение выводов Иванова и Кюмона представляет интерес для понимания степени совпадения взглядов одинаково думающих современных друг другу мыслителей и ученых в России и в Западной Европе.

При общепринятости проводившихся Вяч. И. Ивановым и другими авторами сопоставлений, касавшихся Диониса и исчезающего и возвращающегося бога, разыскания, возводящие эту мифологему к обожествляемому зверю в исходной религии охотников (гипотеза Тана-Богораза) не получила дальнейшего развития, хотя с ней можно соотнести идею Столяра о «натуральном макете» — олове убитого зверя как прототипе искусства.

Глубинные психофизиологические истоки мифологии и религии (древнеегипетской, иудаистической и христианской), как и творчества в целом, пытался понять и описать В. Розанов. Часть высказанных им идей (например, относящихся к соотношению монашества и гомосексуализма в «Людах лунного света») настолько близки к психоаналитической интерпретации, что напрашивается истолкование тех мыслей Розанова, которые не прямо выводятся из его психопатологии, в качестве локального доморощенного аналога фрейдизма. В той же степени, в какой Розанов принадлежит и к накликавшим фашизм (книга об отношении евреев к крови), он скорее может быть только объектом психиатрической экспертизы. В его случае религиозный и мистический эксперимент оказывается полностью разведенным с системой нравственных ценностей. Розанова можно считать одним из крайних авангардистов в этой сфере, чем определилось его преобладающее влияние на таких авторов младшего поколения первой волны русской парижской эмиграции, как Поплавский. Вместе с тем из *аморализма* Розанова можно вывести и мысль Шкловского (в ранний период много им занимавшегося и испытывавшего воз-